

## 1970. Фрунзенская набережная

Вскоре после смерти Валерии Анатольевны Герасимовой мне позвонила ее дочь. По делу. От мамы, дескать, остались воспоминания, которые мы хотели бы вам показать. Продиктовала и новый, не лаврушинский адрес В. А. Г. Дом этот, на Фрунзенской набережной, до сих пор целехонек. Его и отремонтировали, и прихорошили. Преобразились и окрестности. Особенно сильно после того, как почти рядом с ним возвели крытый мост через Москву-реку. Но это сейчас. А тогда... И лестница, и квартира как перед капитальным ремонтом. Ободранная догола. Жизнь теплится только на кухне. Плита. Раскладушка. Штатучий столик. Анечка — ей нездоровится, на раскладушке, под пледом. И юный ее супруг Винцент Шаргунов тут

же. Про то, что он уже давно не Винцент, а Александр, мне неизвестно.

— Мама незадолго до смерти, — говорит Анечка, — ваш телефон оставила и вот это показать посоветовала.

Это — маленькие тетрадочки, похоже, что словарики для записывания иностранных слов. Осторожно раскрываю верхнюю. Удивляюсь — так это же уже перебелено! Начисто. И идеально. Бисерным почерком выпускницы хорошей женской гимназии, с фанатичным учителем чистописания. Анечка вздыхает. Есть и другое. Но то черновик. Перемаранное. Может, возьметесь? Мама про вас вспоминала... Отказываюсь. Спускаясь — лифт не работает, — недоумеваю. С В. А. мы года два тому назад и в самом деле пересеклись. В «Совписе». В редакции критики, но телефонами, помнится, не обменивались.

## 1989. Комсомольский проспект

Но стечению бытовых обстоятельств осенью 1986-го мы с мужем переежаем с Преображенки на Комсомольский проспект. А это одна троллейбусная остановка от того самого Дома на Фрунзенской набережной. Сюда же, на Комсомольский, выписаны «Вопросы литературы». В том числе и тот номер (1989, № 6), где опубликован расширенный, по сравнению с текстом 1965 года, вариант воспоминаний Валерии Герасимовой. О Фадееве. В редакции дочери Анны. По



Фрунзенская набережная и Андреевский новый мост.  
Вид со стороны Нескучного сада



Мужской одеколон «Тройной». Рецепт старинный, как и дизайн. Произведен в наши дни. В России. На парфюмерной фабрике «Новая заря» (до революции, со дня основания фирмы (1864), — «Брокер и Ко»). На фото у меня в руках — выпуск 2012 года (годен до 2020-го)

мужу Шаргуновой. Ничего общего с тем, что я своими ушами слышала в марте 1965-го, там нет и в помине. Что же было в сереньких аккуратных тетрадочках? Впрочем, какое мне, в сущности, дело до чужих семейных секретов? Никакого. Никакого, кроме желания сохранить в памяти, защитить от забвения голицынский март со всем его «пестрым мусором» и, конечно же, запахами. Самый сильный — запах двойного дыма: печного — близко, паровозного — издалека. Электрички уже бегают, но паровозы, видимо, маневровые, еще живы. У забора, когда закрываешь капитку, пахнет подгнивающим деревом и бездомной собакой. В прихожей — «Шипром» и кухни. «Советские мужчины пахли "Шипром"». Пахли, пахли, вот только на мужской стороне детского моего мира благоухал другой запах — одеколona «Тройной». И не воротите нос, господа, сбегайте в Интернет, а лень — поверьте на слово. Запах был легкий, как солнечный ветер, свежий, как ранний, еще без купальщиков пляжный песок, и крепкий, как толсто-кожаный флотский отцовский ремень.

Лысину, как у Котовского, и подбородок отец выбривает быстро и ловко. А вот над губой медленно, а ну как порежет опасной бритвой губу? Я тоже боюсь, что заденет. Но вот с бритвем покончено. Бритва сложена пополам и отправлена в кожаный крепкий футляр. Отец вручает

мне бутылочку с одеколоном, и мы вместе идем к умывальнику, чтобы прополоскать помазок и смыть мыльную шишку с моего носа. Коридор у нас в Севастополе длинный, дверь в нашу комнату в самом конце, а умывальник, как и общая кухня, в начале...

Ух! Наконец-то с голицынским сюжетом покончено, и я весело, словно играя в нарисованные мелом классики, перепрыгиваю расстояние в двадцать один год, перегоня битую — кругленькую коробочку от гуталина, — из 1965-го в 1944-й.

### 1944. Военный городок. Щукинская, 26

Поздняя-поздняя осень. Мы уже несколько месяцев как насовсем вернулись домой, в Городок, и я наконец-то каждодневно учусь. Школа та же — № 153. Как и адрес: Щукинская, 26, корпус первый, квартира 287. Правда, в большей из двух наших комнат по-прежнему живут пришлые люди. Не то что письменный стол, тумбочку не отдают. «Захапали!» Не мамино это слово, шурыгинское. Ух, как Дора Гневливая вселенцев не любит! Вчера, на кухне, когда мы с ее Левкой мертвых, из мышеловки, мышей в буржуйке сжигали, так разоралась! Левкины, те, что побольше, — Геринги, мои, тощие и расплющенные, — Гитлеры. Буржуйку теперь иногда и не топим, батареи чуточку ожили. В больших корпусах особая котельная. Под 7 ноября в ванной из крана полугорячая вода потекла. Взрослым не досталась, в баню, на площадь Расковой, ездили, а мы, дети, попузырились. Хорошо, что у подселенцев мелких школьников нет. Маме громкий шурыгинский гнев не нравится, но она помалкивает. А вот мне раз и навсегда объяснила:

— Возражать Евдокии Васильевне невозможно. Да, орет, да, настырна. Но ежели не она, кто заставил бы коменданта котельную раскочегарить, а нас в надомницы записать? Другие вязальщицы сами в ЖЭК за вигонью ходит, а Шурыгина по своей охоте сама нам работу приносит. Новый крючок по руке пришелся? То-то и оно-то. Даже умельца по вязальным крючкам разыскала.

Крючок и впрямь по руке. Удобный, спорый. Не то что прежний. Женьке давно уже снятся сладкие сны, он сластена, к картошке с селедкой сахару просит. Он спит, а мы вяжем. Кофты. Серые. Из вигони. Мама — спинки, полы и рукава, я — воротники, накладные карманы и левые, беспетельные, полосочки для застежки. Пробую делать и пуговицы. Пуговицы моего изготовления некрасивые. Смотри, говорит мама, как надо. Смотрю. На большой палец правой руки



Севастополь, 1936 год. Команда подводной лодки «Малютка» в полном рабочем составе. Капитан лодки в центре.

Мой отец Максим Сафронович Марченко как второе лицо в команде рядом с ним, справа

(она левша) наматывается вигоневый бублик, его она сразу же туго-натуго обвязывает, разглаживая нитки мокроватым обмылком. Кругляшки потом ошпариваются и отутюживаются. Лампочка, даже без абажура, почти не светит. Мама ставит на стул рядом с моим диванчиком керосиновую лампу. Лампу и запасное ламповое стекло дядя Сережа из Лопасни привез. Мама прикладывает почти готовый рукав к выкройке из газеты. Я нанизываю пуговицы на веревочку. Как сушки с маком. Мне такое задание еще в Севастополе давали, в скарлатинном боксе, когда осложнение случилось и пальцы в кулак не сжимались. Ма, спрашиваю, когда ты Женьку на пирке водила, а я керосинку стерегла, чтобы не закоптила, Шурыгина знаешь как изругала. Из-за тебя, серчала, из Ульяновска незнамо куда укатили. Они же с Левкой скоренько в Москву, на Щукинскую, воротились. Подумаешь, злилась, глисты из дерьма в задницу лезли... В классе мест сидячих не приготовили... Тоже мне, принцесса нашлась... И еще разоряется: если б тогда не в Башкирию уехали, а в Москву вернулись, этих, нахалов, подселить не успели бы. А Левка в щель дверную голову всунул и хихикает: «Красавица южная, никому не нужная».

Мама, распустив часть рукава (узок в пройме), сматывает распущенную пряжу в клубок. Втыкает в него оба стальных крючка и задувает, прикрутив новенький фитиль, лампу. Крючки, клубки, кремация мышей... А как же школа? Пока никак. Теперь же она женская, а все, наверное, как и я, успели привыкнуть, что первыми начинают шумбурумуть не девочки, а мальчишки. Плюются жеваными шариками из промокашек, хлопают крышками парт, на переменах носят, как угольные. А ежели повезет, и шут гороховый обна-

ружится. Лопаснинского циркача до сих пор вспоминаю. Вспомню и начинаю смеяться. Он же для прежней нашей соседки такое на уроках выкамаривал! Учительница и та хохотала. Рожу свеклой размалевал и картошинами жонглирует. А здесь тишь да гладь. Здесь даже имена одноклассниц не сразу запоминаю, их по фамилиям к доске вызывают. Имя прочно прилипло только к одной, самой высокой и смелой — Галке Ветренко. Да и то потому, что на большой перемене приносит в класс крохотные белые булочки и розовые конфетки-подушечки.



Севастополь, январь 1937 года. Одобренное Сталиным предложение одного из его соратников о восстановлении традиции новогодней елки опубликовано за его подписью (П. П. Постышев) в центральной «Правде» 28 декабря 1935 года. Заголовок был нейтральным: «Давайте организуем к Нового году детям хорошую елку!» Руководители детских учреждений, конечно же, сразу поняли, что это не разрешение, а повеление «отца народов». Правда, в обязательный список учреждений (школы, клубы, детские дома) сады и ясли включены пока не были. Даже наверху понимали: организовать столь сложное и дорогостоящее мероприятие и для дошкольников нереально. Зато в следующем году праздник елки стал и для них обязательным.

На фото: я на коленях у директрисы, мама — Галина Филипповна Шаповалова — в верхнем родительском ряду (крайняя справа)



Правильное, по метрике, имя девочки, с которой (на фото) я разговариваю, — Елена, но по-домашнему Ёлка, очень уж она и колючая, о чем и объявлено при вручении ей подарка. То же, кстати, ставшего с той поры традиционным, — для счастливых, получивших приглашение на официальный новогодний праздник (в Колонный зал, в Кремль и т. д.)

Так что же, за целую зиму перед Победой ничего интересного так и не было? Почему не было? Ёлка была. Шурыгин, старший, на своей интендантской работе две даром зашучил. Себе побольше да погустее, нам лысенькую, однобокую. А я в Лопасню сама за игрушками на паровичке ездила! Одна? Да мне же двенадцать, с Нового года и детских карточек (хлебно-продуктовых) уже не будет! И когда в Лопасне из последнего вагона, с последней подножки в снежный кювет спрыгну и кубарем покачусь, никто и внимания не обратит. И ящик с игрушками, еще от севастопольского багажа оставшийся, сама на чердаке разыщу. Остальное давно по частям в Москву перевезли, а про елкины цацки забыли. До войны новые покупали. Что ни попади — скучные стеклянные шишки, да картонаж, да ватный Папанин с собачкой. А я севастопольские хочу. Первые. Те, что отец из Ленинграда привез. Елочку по дороге на полустанке купил, а игрушки — еще там, в Питере. Ой, какие игрушки! Не наконечник для верхушки, а серебряная, с золотой серединкой звезда. И зеркальное озеро с лебедями. И виноградная кисточка в серебряной сеточке, и наливное яблочко с двумя, как настоящие, листьями, и подсвечники, и разноцветные свечки в коробочке. И бусы не шариками, со зверушками. Дядя Сережа перекладывает хрупкое и бьющееся клочками чистого сена и ак-

куратно, чтобы и ручка была, перевязывает послылочный ящик. Уезжаем мы вместе, у Сергея Филиппыча в Москве дело.

Он какие-то бумаги перечитывает, а я вспоминаю... От домашней, первой елки фотографий нет и не было, только воспоминания. Зато от следующей, не домашней, в детском саду, уже после скарлатины, — еще и фотокартинки. Мама, отпуская в Лопасню, показывала. До войны я ими любовалась. А в 44-м они не очень-то понравились. Точнее, я себе не понравилась, хотя и нарядная, и костюм красивый, мама и фасон придумала, и сама сшила. И фотки замечательные, почти уникальные. «Кто стучится в дверь ко мне? С толстой сумкой на ремне?» Страшный гость стучится. 1937 год. Но я этого не знаю. Я вижу только себя! Толстуха, и пузом вперед. Как трехлетка. Хлопушка-толстуха. После скарлатинной больницы под ноль остриженного заморыша дома как на убой кормили...

Что же еще по возвращении в Москву памятное произошло? Не вообще, в стране и на фронте, а то, что я сама увидела? Ну да, конечно: «Большой вальс»: шествие пленных немцев летом 1944-го. Одна из фашистских колонн, как в очереди объясняли, от ипподрома к центру начнет движение. До Ипподрома от Щукинской, говорили, недалеко, и многие на словах собирались на этот «Вальс» поглядеть. Собирались, но не рискнули. Давки-толпы испугались. Мама тоже боялась, мы с Валею Фабристовой долго ее уговаривали. Уговорили, добрались, успели. Жаль, что поздно, почти что к концу. Генералов пропустили. Последние колонны, солдатские, уже на Ленинградское шоссе выходили.



17 июля 1944 года. Москва. Парад побежденных, или «Большой вальс». Народ нарек сталинскую акцию проше: шествие. И это точнее, ведь основная масса побежденных — младшие офицеры и солдаты, захваченные в плен при проведении весной-летом 1944 года войсками 1-го и 2-го Белорусских фронтов знаменитой операции «Багратион»



Ирина Филипповна, старшая сестра моей мамы.  
Фотография 1916 года, чудом, несмотря на блокаду,  
сохраненная младшей из «барышень Шаповаловых» —  
Марусей



Август 1940 года. Мы месяц как живем в Военном Городке на Шуйкинской. На радостях, чтобы отметить новоселье, едем на Сокол. Там, возле метро, открылось настоящее фотоателье. Фотограф важничает. Говорит взрослым: «Улыбайтесь!» А они почему-то не улыбаются... Неужели потому, что в воздухе пахнет не грозой, как в песне, а войной? Близкой, большой и страшной? Впрочем, я тоже не улыбаюсь, но совсем по другой причине. Для красоты на меня напялили слишком теплую кофту и опять завязали бант...

На фото: стоят: мама и ее племянница, Лёля Шаповалова, сидят: справа — я. Рядом приехавшая из Белоруссии мамин сестра Ирина Филипповна Прасалович. У нее на коленях мой братец Женья

Напрасно мама боялась. В толпе хоть и тесно, а люди не толкаются и опоздавшим помогают протискиваться. Меня несколько раз приподняли. То Валя, то какой-то военный, он у нее все номер телефона спрашивал. И все-таки как и от известия о снятии ленинградской блокады, так и от операции «Большой вальс» впечатлений почти не осталось. Вроде как в киножурнале. Зато от такой малости, как поездка в Лопасню за елочными игрушками, воспоминаний уйма, и все сохраненные.

На нынешний взгляд, конечно, и впрямь пустяк. Война еще длится, похоронки еще приходят, отец в госпитале... Так-то оно так, а все же не так. Подручный мой материал — не крупные исторические события, они-то общеизвестны, а мелочи общей всем жизни, «пестрый мусор общежития», который всю жизнь и собирал, и описывал князь Петр Андреевич Вяземский. Конечно, и такой Мусор — мусор, и его первым пускает по ветру «бег времени». Вот и хватаюсь за еще не унесенное ветром. Потому как соринка из этой груды — род крохотного магического стекла, в которое, если включить боковое зрение, многое разглядеть можно, даже хорошо сфокусированному окуляру не заметное. Позиция, согласна, не безусловная. Муравьев и тот недоумевал, когда я, возвращаясь из Ленинки, по горячим следам сообщала: вот-де, сегодня, в бумажном старье покопавшись, выяснила: обрывки собственных моих свидетельств не противоречат правдоподобию. Да, черепки, да, обломки!

Пусть и дефектные, временем траченные. Зато не муляж, не подделка, а остатки вещества жизни, миновавшей, но не прошедшей. Прошлое не уходит, не умирает, а продолжает невидимо жить в настоящем. И как же не радоваться, что настояще, невыдуманность документально подтверждены? Муравьев терпеливо выслушивал, иногда и интерес проявлял, однако оглядки на документы в принципе не одобрял. Пиши, мол, про то, что лично помнишь, не оглядываясь. Да я не оглядываюсь! Хочу лишь удостовериться, что тот вон черепок от чашки — тогдашнего, не позднейшего фасона, а этот обломок — от ножииков, какими мы картошку проросшую чистили. И вот еще почему оглядываюсь. Чтобы взглянуть позорче. Где я — именно я, а не какая-то девочка, очень-очень на меня похожая, до того похожая, что никто, кроме мамы, не усомнится, не станет присматриваться: да моя ли это дочка? Ведь каждая вторая женщина по самой природе своей и актриса, и драматург, и режиссер-постановщик, то есть существо, приспособленное к двойной жизни — и реальной, и воображаемой. В ранней юности умение приятельниц в автобиографических мелодрамах собственного сочинения играть роли роковых героинь слегка смешила, в зрелости раздражала, в старости утомляет. Единственное, чего я боюсь,



1947 год. Женская школа № 153. Учитель математики (по прозвищу Борода), заглянув во время «белого урока» и увидев, что мы не только голосим и хохочем, согласился сфотографироваться на память. Он у нас временный, ждет не дожидается открытия мужской 161-й. А ее все строят и строят...

вступая в профессиональные отношения не только с персонами биографических своих вместиороманов, но и с самой собой, так это неконтролируемого «чувством правды» произвольного сдвига «низкой жизни» в сторону вымысла и красоты. Не стану уверять ни читателей, ни себя, что тропа, по которой на склоне лет возвращаюсь в давно прошедшее, безупречно пряма. К счастью, сочинять я не умею, и чтобы услышанное неважно где, на кухне, по радио, в очереди или электричке, стало живой картиной, слово в моем случае должно зацепиться за что-то реально осязаемое. Просто чужое («с голоса чужого») не прорастает, как растение из недоброкачественных семян. Словом, сочинять решительно не умею. Однажды, впрочем, пришлось.

В самом конце войны, да и некоторое время «опосля», в окраинной нашей школе имелся учительский недобор, а у нас, пяти- и шестиклассниц, — «белые уроки». Считалось — для закрепления материала. И самостоятельной работы. Никто, разумеется, не работал. Вот Галка Ветренко и придумала: пусть каждый по жребию что-нибудь интересное сочинит. И сама первая стала анекдоты рассказывать, какие в хлебной очереди услышала. И не рассказывать, а представлять! Мало того, еще и самую смешливую из одноклассниц к доске вызвала — чтобы реакцию «публики» комментировала. Имя-фамилия у комментаторши длинная, Людмила Нодельман, и она его на два разделила: Мила-Нодель — Люда-Ман. Итак, Галка актерствует, а Милка мелом на доске комментирует: **ХОХОТ ГОМЕРИЧЕСКИЙ**. Что такое «гомерический», ни Мила-Нодель, ни прочие

знать не знают. Всеобщему хоту — животики надорвешь — незнание не мешает. В следующей раз, когда новенькая, из параллельного класса к нам пересаженная девочка, про княжну Джаваху долго рассказывала, трогательно, с выражением, Люда-Ман, не дослушав, уточняет: **КУКУШКИНЫ СЛЕЗКИ**. И опять никто не знает, что слезки всего лишь травка, красивая, с висюльками, и редко встречается. Но согласились: правильно, слезки, и не вообще, а кукушкины. А теперь и мой жребий в Галкином кулачке. Брыкаюсь, не помогает. Анекдотов не запоминаю. Чарскую терпеть не могу. Но пока меня, похохатывая, с последней парты до доски дотащили, песенку вспомнила: «Увидав ее на борту, капитан выходит из рубки, у нее голубые глаза и дорожная серая юбка...» Ну и пошло, поплыло, поехало. К счастью, у новенькой чуть ли не полная, наследная от тетушек, Чарская. Да и анекдоты неисчерпаемы. Так что обещанное продолжение — приключения девицы в серой юбке в далекой Индии чудес, куда, бросив семью на произвол судьбы, сбежал английский ее папенька, благополучно отставлены. Впрочем, белые «вместоуроки» не слишком интересный предмет, а вот путешествия на Инвалидный рынок, особенно самое первое, и впрямь событие. О том, что на месте нынешнего Ленинградского и прежде, в революцию, рыночек был, в просторечии Инвалидный, мы осведомлены. По словам одной из наших наставниц, Любови Ивановны Острогорской, преподавательницы истории и покровско-стрешневской старожилки (по слухам, внучатой племянницы то ли самого Чернышевского, то ли жены его Ольги Сократовны), мы все знаем, что Инвалидным называется потому, что в прежние времена был здесь знаменитый на всю Москву инвалидный дом.



Москва, Инвалидный рынок. Район села Всехсвятского. Время, конечно, другое. Судя по одежде торгующих и покупающих, начало 20-х годов. Все остальное, включая место и ассортимент предлагаемого товара, ничуть не изменилось за двадцать советских лет



Фотография конца XIX века. Лица запечатленных на ней насельников Александровского убежища для увечных ветеранов Русско-турецкой войны, на мой взгляд, выразительнее, чем построенные для них дома, свидетельствуют о жизни, до основания разрушенной пролетарской революцией и Гражданской войной. Тем выразительнее, что именно на этом «основании» (фактически превращенном в пустырь) и самообразовался Инвалидный рынок

Александровское убежище для увечных и престарелых воинов. В основном бессемейных ветеранов Русско-турецкой войны, той самой, на которую вроде как уезжает Алексей Вронский. И не богадельня это была полунищая, а настоящее убежище: и парк тут, и клумбы, и здание больнички. Она же аптека. И все исправное. И красивенькое, вроде купеческого псевдобарокко... Впрочем, об этом можно прочесть в Интернете. Куда интереснее то, что своими глазами тогда, в зиму 1944-го, на Инвалидном рынке увидела. Сначала, разумеется, самих инвалидов. И не несчастных, а бойких. Ловко-умело к своей инвалидности приспособившихся. Ну а потом то, что они на торги вынесли, рассматривать стала. Там же в ту бедную пору, от нынешних прирыночных барахолок в отличие, ничего барахольского не было. Только самое-самое: для хозяйства. Воронки из жести и для маленькой керосиновой бутылки, и для большой, и чтобы в керосинку налить. И штучки с винтом для самоварного крана, не знаю, как называется, если у кого потерялись, и фитили, и отвертки... И все ходят, смотрят, наклоняются, находят нужное, и радуются, и благодарят. А один малюсенькие валеночки с галошами продавал. Крохотные, годика на два или на полтора. Инвалиды, гвозди, замки всякие, а тут валеночки. Новенькие, как игрушка. Одна тетка, вроде бабушка, купить хочет, но колеблется: дорого. А ее продавец безногий уговаривает: зиму ребяток в тепле потопает, а потом обратно по весне принесешь, и я за ту же цену

куплю. Как же я все это запомнила? Да я три раза весь рыночный круг обошла. Все есть, а слюдяных окошечек, вместо прогоревшей, для керосинки нет и нет! Совсем отчаялась, и вдруг... На все деньги три штуки купила. В мешок для сменной школьной обуви, он у меня в кармане, на самое дно положила, затянула веревочкой накрепко и на шею повесила. Чтобы не треснули. Не поломались. Так домой и приехала.

У инвалидов, кстати, приобретался не только дефицит. Перья «лягушка» для вставочек да фитили для керосинок. С Инвалидного залетела на Щучку и игра в бал, перед началом которой, не прекращая крутить скакалки, мы громко скандировали:

Шла торговка мимо рынка,  
Спотыкнулась о корзинку.  
В этой маленькой корзинке  
Есть помада и духи,  
Ленты, кружева, ботинки —  
Что угодно для души?  
Что хотите, то берите,  
Губки бантиком держите,  
«Да» и «нет» не говорите,  
Черно с белым не берите...  
Вы поедете на бал?

Даже ужас непроходящей вечной войны необъяснимо прочно сцепился в памяти с Инвалидным рынком. Не конкретной, сейчасной войны, вообще ВОЙНЫ. И не только из-за инвалидов. Почему? Может, потому, что мы, уцелевшие и выжившие дети войны, подрастали, не где-то, аazole, рядышком, прямо за Щучкой, рос-подрастал атомный Курчатковский ужас. Рос, разрастался, приближаясь все ближе и ближе к месту старого стрельбища, на котором будущие наши кавалеры собирали какие-то гильзы и патроны. Им — патроны, нам — губки бантиком для амуров. Только какие амурсы? Кавалеры продолжали играть в войну, завидуя сиротам, которых их матери, вдовы погибших защитников отечества, срочно устраивали в суворовские и нахимовские училища. Даже на Москву-реку мы убежали отдельно, поврозь. Мальчишки неведомыми ходами (как разведчики, тайно!) добирались до заводи, жгли там костры, ссыпая в огонь найденные на стрельбище боеприпасы. Но мы на них не обижались, а, едва добежав до Москвы-реки, загребая руками, как веслами, съезжали в воду немедля, на задницах, с почти отвесной песчаной горы.

В книге Улицкой не то что мои, но и ее ровесники чаще всего вспоминают про голод. Да так горестно-беспросветно, будто все как один блокадники.



Центральная часть нашего корпуса в Военном Городке. Современный вид. На нынешних фотографиях он выглядит чересчур красиво, да и имя носит амбициозное: Авангардный дом



Кроме Дискобола, вокруг спортплощадки, на месте которой в начале перестройки возник типовой бетонный уродец, красовались и другие олимпийцы. Спасти удалось лишь самого всеми любимого...

Не знаю, в чем тут причина, может быть, в том, что собранные здесь письма-воспоминания не разведены по датам и местам тогдашнего проживания. В результате, как я уже упоминала, из документального время превращается в условно-военно-послевоенное. Что касается лично меня, то постоянного голода все же не помню. Недоед хронический — другой коленкор. Он и меня почти до обмороков доводил. Голову вдруг как закружит, и вроде как улетаешь. Под хлороформом. Но если о чем-то важном вспомнить или подумать, кружение все тише да тише становится. И ничего-ничегошеньки вволю-досыта ни разу не было. Даже картошки. Кроме, как у Чуковского, шоколада. Однажды. В Москве. В последнем военном году. Не пудов пять или шесть, понятно, но много. Не настоящий, правда, сырец, без сахара, глыбами. Шоколадные глыбы корабельщикам в Штатах выдают как НЗ. Отцу земляк, белорус, подарил, чтобы домой детям послал. Он еще в России родился, и когда ленд-лиз в Мурманске разгружали, переводчиком был. Краснофлотцу, который шоколадную посылку на Щукинскую привез, взрывом глаза обожгло, с отцом в мурманском госпитале на одном этаже лечился. Теперь вот в Москву послали, в Бурденко. Кроме шоколада-сырца, в американском подарке пачка открыток была. Дешевые, одноцветные, не глянцевые, розоватые и нечеткие. Вроде как виды городочка, в котором белорусский американец вырос и до войны жил. В местной маленькой типографии, видимо,



Здравствуют пока и слоны в прогулочном дворике детского сада. Садик, конечно, закрыт. Якобы на ремонт. Администрация района Щукино не в состоянии сломить сопротивление жителей уникального Городка. Надолго ли хватит их энергии и упорства?

и отпечатанные. Я, когда их на диване рассыпала, ахнула. И клуб, и спортплощадка, и детский сад с фонтанчиком — совсем-совсем как в нашем Военном Городке! Клуб особенно — как будто по одному чертежу строили! В нем, в клубе, и кинозал, и библиотека, и маленькая гостиница для командированных военных, и комната для занятий с детьми музыкой, и магазин сбоку, с другой стороны. (Теперь там, конечно, «Пятерочка».) Да и наш, первый, корпус со стеклянным нежилым подъездом посредине и телефонным узлом наверху? А колонны? А площадка перед — с огромной клумбой и белым дискоболом в центре? А сквер

вокруг спортплощадки? Американскими кленами обсаженный? А изгородь не железно-чугунная, а живая? Но это так, апропо. Потому что, кроме еды и открыток, была в посылке пачка отцовских писем. Писал он часто, почти каждый день. Но не отсылал. Конвертов с марками не было. А просить не умеет. Язык не поворачивается. Госпитальные письма мама читает мне вслух. Вот только в них одно и то же: руки-ноги на месте, иду на поправку. Все. Остальное — военная тайна. А ведь и впрямь военная тайна. Американский транспорт с гуманитарной помощью, его-то и сопровождают наши подлодки, попал-таки под бомбежку. Американцев слегка поцарапало, а две наши подбитые лодки стали тонуть. Пока экипаж катера подбирали, люди оледенели. Кто до крупозного воспаления легких, а кто и совсем, насмерть. Отцу повезло, их шлюпку быстро вынесло на береговые камни...

Ну что же так скудно? Неужто в Москве, «всвосях», не веселее, чем в татарской избе? Так дело не в месте, а во времени, вернее, в том, что именно к последнему году войны усталость, вечная плохопомытость и хронический недоед, накопившись в костях и в крови, превратились в хронику. Нет, нет, не у меня только, у всех на общих основаниях выживавших. С утра Женьку в детский сад со слониками — и сразу вприпрыжку в хлебную очередь. И записаться, и маму дожидаться. Отправив нас, она задерживается. Чтобы враз на весь день приготовить и обед, и ужин. Дождусь — и опять бегом, на лестнице, правда, уже не спешу — отдышиваюсь. А дома опять спешка. Суп перловый, с картошкой и луком поджаренным, еще теплый, в подушках. Компот из лопаснинских «сухофруктов» тоже. А что без сахара — ну и что. Посуду можно не мыть: таков договор — мама сама по-своему вымоет. С горчицей. До блеска, а не кое-как. У меня ведь — домашние задания. Учимся мы во вторую смену. Малышня и старшеклассницы в первую, а мы, мелкота, — во вторую. Из школы за братцем — к слонам. А вечером, после ужина, как только мое да и мамино наказание уснет, усаживаемся за вязание. Мама пробует меня научить пятью спицами управляться — носки, варежки. Не выходит. И до сих пор пятью не умею. Вяжем, а она рассказывает, но не про нас и наше непонятное время. Про старую, но понятную жизнь. Картинки из этих рассказов почти не получают. Чтобы получилась картинка, как я уже говорила, мне надо за что-нибудь осязаемое зацепиться. А тут не за что. Например, про дядьку Ефима. Шальной был, оказывается. В цыганочку еще пацаном втюрился, пытался с табором на юг убежать. Старые цыганы дубьем прогнали. По-

том к дочке сапожник воспылал, что тут же, и слободке жил, местным евреем обувку и шил, и чинил. Опять прогнали. Сергей над Ефимкой посмеивался. Он же у другого сапожника, у конкурента, у Бочкова, на старшей его дочке Екатерине Степановне жениться собирается. Ефим с горя в ледоход с моста в речку прыгнул. На левой ладони скрюченным мизинец так и остался.

Горки... Заречье. Которого давно нет и в помине. Река Проня. Которую мне так и не показали. Ледоход. Еврейская девочка с личиком бело-розовым, как пасхальное яичко, и глазами в пол-лица, как нарисованными. Нет, такое не представляется. Но ни писем, ни фотографий Ефима в ранней юности и вообще в молодости ни у кого нет. Наверное, у тети Нади, первой его жены, остались. В Витебске. А их дом разбомбили. Но я продолжаю упрямяться. Давай, мол, фотографии со шкафа достанем. Там твои сестры, и Маруся, и Ирина, — вполне молодые. Я помню. Были! И фотограф хороший, старинный.

Мама наконец-то уступает, достает со шкафа обувную коробку со старыми фотками, но, глянув, принимается за вязание (срочное). Она вяжет, а я все рассматриваю и рассматриваю. Ну чем же Лиза и Ирина похожи?

— Тетя Лиза на твою маму, а мою бабушку похожа. На Ксению Иустиновну. Зато вы с Марусей хотя и разноцветные, а сразу видно, что сестры.

Мама, не переставая вязать:

— Жизнь у них разная получилась, смолоду, до замужества, похожи были. Так и говорили: барышни Шаповаловы. Сестры Сергея Филипповича, Сергей же тогда в Горы-Горецкой земледельческой школе уже опытные занятия вел. Ирина, как сейчас вижу, только-только прогимназию окончила, изящная. Ей Сиротский совет дополнительный педагогический год оплатил, пришлось сразу в деревню ехать, учительствовать. Думали — ненадолго, вышло — что навсегда. Там и с Мишей Прасаловичем встретилась. На пару, вдвоем, и работали. Школа хорошая. Земской постройки. И помещение для наставников тоже. Одно плохо: у Михаила ни к земле, ни к хозяйству интереса нет. С утра в школе, после уроков — регент. Ирина — против. А мне в церкви нравилось. Не служба, конечно, а пение. И когда в революцию у них жила, тоже пела. Да, да в местном церковном хоре. Михаил, правда, сердился. Слух у меня не твердый. Я — да. Ирина — наотрез. Нет — и все тут. Не до пения ей. Огород, хозяйство, а потом Толя родился. И двух лет ему не было, как на уроки с собой приводить стала. Сопли что черви зеленые, а не шелохнется. В начале-то особой нужды в сво-



9 мая 1945 года. По рассказам приятельницы, в комнате, где их семья в то время жила (неподалеку от писательского дома в Лаврушинском пер.), пришлось задерживать шторы. Огненные ленты — их запускали в ночное небо мощные прожектора, сосредоточенные, видимо, в районе Кремля, — мешали ей спать



24 июня 1945 года. Парад Победы. Георгий Жуков принимает Парад. Константин Рокоссовский Парадом командует

ей бульбе да огурцах не было. В земских школах учителям исправно платили. Да и деревня большая, хозяйственная, наставников, Ирину особенно, уважали. Дешево продавали. Да и так могли принести. Нет, нет, не думай, в доме-то Михаил многое делал. Рукастый. Нам с Ирой обувку из веревочек плел. А Лиза — что? Из сырного заведения, от Боборыкина ушла. Вони не вынесла. Франтиха. И нас с Марусей, и себя обшивала, шляпки — и те мастерила, а они тогда знаешь какие были? С выкрутасами, нам не личило, а ей шли. Семен, это я о Фабристове, он тогда вдовцом был, Лизу в лавке кондитерской высмотрел. В Горках. Мы с Марусей к ней нет-нет да забегали. Хозяин нам монпансье подарил. Целую коробку. Круглую, жестяную. Красивую. Мы с ней к Стугаревым кинонулись. У Мани нас всегда угощали, а нам нечем, а тут такая красотища-вкуснотища...

И так всю зиму. Было бы радио, другое дело, но радиоточка в квартире одна, в комнате у Шурыгиных, квартиру-то готовили как отдельную. По Дориным словам, для младшего брата Щорса, он посмотрел, посмотрел и отказался: глушь, окраина. Фильмы, конечно, крутят, но в Городке клуб, не кинотеатр, и сеансов всего два. На первый, в шесть, не успеваю, на взрослый, в восемь, — мелюзгу не пускают. И библиотека на замке. Батареи там еще в начале войны от большого мороза лопнули. Так что новости с фронтов Отечественной войны доходят до нас с опозданием. И в Дорином изложении — с пятого на десятое. Мама охотнее бы в газете «Правда» прочла, но «Правду» выписывает Дорин супруг, Анатолий. Он и из ящика ее вынимает и весь вечер читает. А утром, как на службу уйдет, Левка за дело принимает-

ся — разрезает на правильные куски, для уборной. Уборная у нас чистая-чистая, ее и Шурыгина в свою неделю, и мама в свою со щелоком каждый день моют.

Но вот наконец и 9 мая. Как это ни странно, но ничего похожего на фейерверки радости в памяти не осталось. Всенародное ликование, разумеется, не придумка, но это в центре. В Городке грома побед не было. Почему? Во-первых, о том, что война фактически кончилась, многие уже накануне узнали. В некоторых корпусах, в отдельных квартирах, генштабовцы проживали, а в том, где внизу поликлиника, журналисты из «Красной Звезды». Уличные громкоговорители, разумеется, не умолкали. Да и в школьном дворе толчея. Долго ли потусуешься? Зимой, как зайцы, вмиг разбежались, а как в апреле растеплилось, стали на группки-компашки делиться. Старшие — по интересам. Мелкота — по классам и по корпусам. К тому же в мае снова похолодало. Девятого особенно. И холод, и дождь, и ветрище...

Ну а на следующий день и вообще после 9-го? Сразу в мае почти никак. Женщины измученные. В очередях перебранки. Женька то ходит в садик, то опять болеет. И не только он, у многих одноклассниц то же самое. Электроплитками пользоваться разрешили, а спирали старые, быстро перегорают, новых и на Инвалидном рынке нет. Впрочем, видимо, уже в самом конце мая дядька Ефим, проездом в Тулу, он в тамошний Педагогический перед самой войной перевелся, дня три погостил. Его сразу демобилизовали, по возрасту. И мы с ним в Загородный коммерческий ресторан ходили. Ему-то, конечно, «по чарочке, по нашей фронтовой» да бутерброд с луком и килькой, а мне — представляете? — пирожное, и на выбор. А вообще-то они с мамой смурные и все ждут, когда я из дому схожусь. И все-та-

ки в июне что-то переломилось и распрямилось. Растепплось. Вместе с летом. Как раз к Параду Победы.

Кто уж придумал, не помню, но в нашей школьной компашке решили, что к вечеру, отпросившись, до Сокола на 21-м трамвае доедем. А там видно будет. Боялась, мама не разрешит, а она и вникать не стала. До метро — ради бога, но дальше — ни-ни. Мама вообще почему-то печальная. Когда отпрашиваться прибежала, какие-то письма читала и сразу же в подподушную сумочку спрятала. Я, конечно, струхнула, но успокоилась. Не от отца письма, с ним все в порядке, долечится и приедет. Уже запрос из Инженерного управления пришел, прежних работников по фронтам собирают.

До Сокола мы не доехали. Перед мостом трамвай остановился. Все в сторону Ленинградки бегут, торопятся, а мы замешкались. Потоптались, потоптались, все-таки двинулись, но до конца моста не добрались: хлынуло. И словно только на нас, только прямо над нами. Дальше ничего страшного, дождик сквозь солнце, а здесь, в Стрешнево, хляби небесные! Хорошо хоть новые тапочки сразу сняла. Попробовали в трамвай попроситься, пустой ведь стоит, и кондукторша там, так нет же, ругается. Праздник, победа, а она брысь-провались. Деревьев больших тоже нет, одни сосны. Вот тут-то из домика на углу, совсем совсем деревенского, беззаборного, какой-то мальчишка выскочил и рукой машет, на навес показывает. Ну, мы и бросились. Спрятались. А его мамка, выглянув на терраску, руками зовет и полтенце дала, чтобы волосы и лицо промокнули. Топчемся, разговариваем, а мальчик за столом сидит. Молчит и смотрит. Хорошенький мальчик. Глаза и ресницы черные, а лицо светлое и все в веснушках, как птичье яичко. Мы сохнем, ждем, когда дождь кончится. А они для винегрета овощи в четыре руки режут, и огурцами, чесноком и укропом так пахнет, что в животе попискивает. Ливень, наконец обессилев, превращается в морось. Галка Ветренко досуха выжимает полотенце, и мы, как по команде, бросаемся в догонялки — другого способа согреться и подсохнуть у нас нет. Вот такая скучно-обыкновенная история. В коллектив-



Март 1951 года. Возле лыжной базы в Глебовском парке. Вылазку, в знак скорого прощания со школой, организовал наш Ванечка. Он же обеспечил всех обедом — еще теплыми московскими плюшками.

На фотографии Ванька сидит на снегу (первый слева). Рядом, и тоже слева, стоит Галка Ветренко

ной народной памяти — народное гуляние. Красная площадь. Рокоссовский на темно-коричневом коне. Жуков на чисто-белом. Жуков принимает Парад Победы. Рокоссовский Парадом командует. А у меня? Противная кондукторша, ливень — хляби небесные, мальчик с веснушками да укропно-чесночный запах разрезаемых для винегрета огурцов особого домашнего посола. Точь-в-точь такой, как до войны, у дяди Сережи в Лопасне.

Зато винегрет с невыносимо вкусными огурцами мы все-таки попробуем. Да что попробуем — умнем целый таз. Только нескоро, лет через пять, когда мальчик с веснушками перейдет, как и все, в последний, десятый класс, и мы почти в том же составе явимся к нему на день рождения. Вот только домик его осенью сруют бульдозерами, и Ванечка исчезнет. Был, и как не бывало. Правда, года через три или четыре одна из моих одноклассниц, с которой у Ваньки, по всем приметам, любовь начиналась, получит от него письмо. Отслужил-де действительную, поступаю в Жуковку. Почти все экзамены на «отл.» сдал. Ежели не забыла, пиши. Прибежала она ко мне, вся беременная, всплакнула, тушь по щекам размазалась, у Ванечки, дескать, на ресницах спичка держалась, сама провиряла...

Продолжение следует.